

Война и интеллект

Ахутин А. В.

Рискнул я во время войны подумать. Написал несколько блогов на тему «Война и интеллект». Тут, кажется, все неуместно. Война требует действия (участия, защиты, помощи), а мысль хочет сосредоточения в мире. Я не занимаюсь научным исследованием, просто думаю, чем могу, чем располагаю, что ношу с собой, не обращаясь к источникам и справочникам. Думаю над этим самым: как соотносится событие войны и способность — а может быть, даже долг — думать. Написал два поста. Первый: интеллект — не орудие познания, а особый модус человеческого бытия, именуемый ответственностью. Все познания, осведомления, концепты, науки, дискурсивные практики и проч. — вторичны. Они обретают смысл в первичном контексте — ответственности. Все интеллектуальные занятия имеют значение и смысл как аспекты ответа на вопрос, конституирующий человеческое бытие как человеческое. Это бытие-под-вопросом.

Событие войны — на деле ставит этот вопрос. Событие черно-белой войны, где с одной стороны уничтожающее ничто, а с другой, само бытие в предельной простоте своего добра, открывает нечто изначальное. Стоит подумать, что это.

О философии, как предельной форме интеллектуальной ответственности. Именно предельная вовлеченность в существо вопроса, под которым человек ведет свое бытие, производит впечатление отвлеченности, традиционно приписываемой философии. Война на деле ставит этот вопрос и так же «отвлекает» от обычной жизни. Отсюда парадоксальная взаимосвязь эсхатологического события войны и требуемой этим событием философски предельной сосредоточенности ответственной мысли.

Под угрозой стоит нечто безусловное и несомненное: человечность. Но ведь человечность человека, говорил я, это бытие под вопросом...

Я не берусь отвечать. Привлечь внимание — вот моя попытка.

I

Интеллект и есть то в человеческом существе, что усложняет его существование ответственностью. Выражение «прийти в себя» на русском синонимично выражению «прийти в сознание». Это что значит? Да просто: ты в себе, когда не в обмороке: не сливаешься самозабвенно с обстоятельствами, а отстранен от них, находишься (находишь себя) в отношении к ним. Обычно мы живем бессознательно (как и все вокруг). Работы, заботы, страсти, отдыхи... — привычное дело. Но вот вдруг обычный ход дел прерывается, обстоятельства озадачивают. Бывает, что человек не злится на помехи, а озадачивается. Бывает, что человек останавливается в этой озадаченности и задумывается. Вот тут-то он — человек — и приходит в себя. Иногда — впервые. Приходит и удивляется: где ж он был до сих пор?

Человек приходит (вынужден прийти) в себя, когда мир вдруг взрывается войной. Война не стихийное бедствие, а сознательное и политическое (коллективное). Она на деле

вовлекает «полис» твоего привычного мира в войну. Она выбрасывает каждого, кто мирно сжился со своим миром, нет, не обязательно в окопы, а в самого себя, приводит в себя (= в сознание) и ставит человека — со всеми его верами, убеждениями, занятиями, привычками — под вопрос. Оказывается, это не несчастный случай, а «удел человеческий», его собственное (!) место в странном событии бытия. Обживание этого странного — неуместного — места и называется собственно мышлением, энергией интеллекта.

И вот ведь что удивительно: те самые люди, кто связал свою судьбу с интеллектуальной деятельностью, занимают глухую оборону, когда событие войны (причем войны, в свою очередь, необычной, дело идет не о территориях, а об основополагающих началах самой человечности) требует ответа от них, от профессиональных интеллектуалов.

Весь мир, затаив дыхание, ждет твоего ответа, решения, а ты бормочешь: это не я, это воля непросвещенного народа, это происки политиков, это вон тот, который узурпировал....

И вот урок. Интеллект, насколько он специализируется в своих профессиональных ячейках, насколько встраивается в научную индустрию, в машину по производству диссертаций, научных трудов, международных конференций, — отказывается исполнять свой основной долг: быть ответственностью человека за человеческое бытие. Он отчуждает от себя эту работу, передает философствующей публицистике, политической журналистике, и пропагандистскому мифотворчеству. Предательство интеллектуалов не в релятивизации истины (аналитика начал как раз входит в суть интеллекта), а в отстранении от экзистенциально-политической ответственности. Эта ответственность легко узурпируется первым попавшимся диктатором. Он властвует и действует той самой силой, которую профессионалы оставили за дверьми своих кабинетов, чтобы не мешала. Они поэтому несут прямую ответственность за действия своих политиков. Если не по опыту старших, то по рассказам, по литературе (а это все образованные люди), по фильмам они могли бы увидеть и понять, что значит «не календарный, настоящий XX век» и еще более настоящий XXI. В свое время одни думающие люди рассказывали на разные лады нам, теперь думающим людям о крушении нашего комфортного гуманизма, живущего без ненависти в «вечном мире». Предупреждали: вся архитектура нашей жизни, наших храмов, музеев и жилищ поколеблена, она рушится. Мы все давно уже «перемещенные лица». Куда? Что тут делать? Как тут быть "добрым людям"?

II

Клеймят Хайдеггера-нациста, клеймят Платона-тоталитариста, клеймят Маркса-коммуниста, Спинозу-детерминиста, Гегеля-панлогиста... Если, однако, послушать самих «-истов», едва ли не первое, что услышим: в философии нет мнений, взглядов, авторских идей-идеологий, даже мировоззрения не формы философской мысли. Тут-де царит Ананке-Необходимость, имманентная логика мысли.

Но как же Ананке-Необходимость допускает такое множество разных «измов»-учений, мудростей-софий?

О, вот это фило-софский вопрос. Не вопрос внутри мудрости (где ответы подсказывает необходимость, ее — этой (!) софии — логос-логика), а вопрос о (!) мудрости (логике, необходимости). Значит что же, — где-то до или между? В междумирии софийных (осмысленных) миров? А как же тут — в этом «до» или «между» — думать? Какой логики держаться, какими правилами для руководства ума следовать? Какая Необходимость поможет нам здесь разобраться?

Это вопрос фило-софии. Мы помним Аристотеля: философия занимается первыми началами.

Теперь немного уточним: философия занимается первичностью (!) первых начал, начинанием (!) начала. Перекинем мостик через 2500 лет: философская критика исследует не просто априорные условия мысли, способной знать на опыте, а источники (!) этой априорности, возможности (!) быть априорными условиями. А ведь это означает и возможности быть опытно данным.

Иначе говоря, философия останавливается, тормозит там, где и когда «ничего еще не было» и все еще только может быть. Возможности мыслить и быть, — вот ее тема.

Мы забрались глубоко (или высоко), а при чем же здесь война?

Война есть война, тут воюют воины и страдают люди, тут взрываются жилые дома и рушится общий дом (эко-логия, эко-номика). Тут дело идет о жизни и смерти. О первом и последнем. Тут все опоры, перила, правила, эскалаторы, лифты, нормы, институты, — все что везло нас и водило за руку, рушится. Мир показывает нам свою обратную сторону — границу, где ничего еще нет, кроме нас, стоящих под вопросом.

Оказывается, мы — самые последние обывателей, слабые, больные, напуганные, растерянные... — хотим или не хотим, а воины. Наша обычная жизнь имеет эту подоплеку — быть воином. Нет-нет, не за что-нибудь прекрасное и высокое, но и не просто ведь за жизнь. Есть многое в жизни, без чего жизнь не в жизнь, за что мы готовы и жизнь отдать. Что же это? — Часто мы думаем, отделаться от вопроса тем, что вписываем себя в тело какой-нибудь вековой традиции, изначально и не нами данной премудрости. Или в саму природу, дескать, самосохранение — вот закон. Или в «нормальную» жизнь, которая-де везде и повсюду одна. — Таковы разные жизненные «мудрости». А мы, напомним, где-то вне, до, между.

Когда я говорю: война эта – война самого зла — уничтожающего ничто — против добра (помещающегося в котомке беженца с детьми за руку, кошкой в переноске и больной собакой на плече), я имею в виду это самое: мы защищаем то, что может и хочет, что достойно быть от агрессивного небытия. Мы касаемся первоначал бытия. Они нам ясны, как в откровении.

Вот Декарт, храбрый солдат действующей армии, живущий на постое в баварском городке Ульм, получив досуг и уют для размышлений, начинает свои поиски в войне с тотальным сомнением. Отстранив все подсказки, он наощупь ищет надежную первичность первооснования. Но вот в чем вахта философа-воина: отнюдь не в надежном основании видит Декарт свое дело, а в самом этом — возобновляющемся — поиске во тьме, в стойкости мыслящего бодрствования он находит свободу и достоинство бытия.

«...Намерение это <сомневаться> мучительно и трудно, и какая-то леность нечувствительно вовлекает меня в ход моей обычной жизни. И подобно рабу, который радуется во сне воображаемой свободе, а когда начинает подозревать, что его свобода

всего лишь сон, боится пробуждения, потакая своим приятным иллюзиям, чтобы и дальше обманываться, так и я нечувствительно для себя впадаю в свои старые мнения и боюсь пробудиться от этой дремоты из страха, что трудные бдения бессонных ночей (*laboriosa vigilia*), которые сменяют это спокойствие, не только не добавляют сколько-нибудь света познанию истины, но и не будут достаточными для того, чтобы рассеять мрак тех трудностей, которые и так беспокоили меня».

III

Парадокс «культуры». Мы слушаем «Реквием» Моцарта, и его «Диес Ирэ», и «Лакримоза», но не дрожим от ужаса и не корчимся в рыданиях, а... наслаждаемся. Разумеется, от древних «заплачек» и «панихид» — спазмы горя и ужаса эстетически отстраняются, чтобы... что? Разве чтобы превратить их в наслаждения? Греки говорили — «катарсис»-очищение наших патосов-страданий-переживаний. Это вовсе не значит отделаться от них, тем более не превратить в наслаждение (какое-то выходит садомазохистское), но сделать невыносимое страдание и ужас выносимыми озадаченностями. Так в трагедии Эсхила учреждается институт суда. Так за Эдипом в Колоне видится Сократ.

IV

Война ставит под вопрос жизнь и добро воюющих сторон. Она может завершиться капитуляцией одной из сторон, безоговорочной или оговоренной в мирном договоре. Но есть война мировая, какой была Вторая мировая война, война союзников против нацизма. Это не политическая война государств и не религиозная война цивилизаций. Она мировая не по масштабу, а по смыслу. Смысл этот был зафиксирован в «Декларации прав и свобод человека», принятой в 1948 г. на 3-й сессии только что образованной ООН.

«Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, <...>принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества...»

Вот за что шла цивилизационная война. Война не против государства, страны или нации, а против варварских актов, которые возмущают совесть человечества (!).

Что тут важно? 1. Это декларация от лица «человеческой семьи» (*human family*). 2. Возмущена «совесть человечества» (*the conscience of mankind*). 3. Возмущена она попранием достоинства человека как такового, то есть фундамента все прочих прав и состояний человека.

Нет, не территории, а человеческое достоинство, — вот что стояло под вопросом во Второй мировой войне, если отнестись к слову «мировая» всерьез.

Все участники человеческой семьи, чья совесть возмущена варварским попранием человеческого достоинства, должны осознавать: на этой войне испытывается совесть-сознание человечества (*the conscience of mankind*).

V

«Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся крив, стала — всестерпимость...» (О. Мандельштам).

Когда хлеб исчезает, на прилавке остается ценник. Так появляются «ценности»: здесь что-то было, что именно, мы забыли, но что-то ценное. Вот стоит церковь. Там кто-то жил. Кто — забыли, но помним, что-то сакральное, священное (что это такое, можно справиться у Р.Отто), — словом, ценное. Вот лежит книга, там что-то важное сказано, но что, мы забыли, помним только — ценное, поэтому издадим большим тиражом полное собрание сочинений с комментариями.

Так существует теперь «Великая русская культура». Она жила, билась, страдала, пела, голосила пропаганду, несла околесицу, молвила пророчества, спивалась, умирала... — теперь на ее месте только значки ВРК, которыми перекликаются и перемигиваются ее владельцы. И чем крупнее и ярче буквы на этом ценнике, чем жирнее позолота на картонке, тем более гулко отзывается пустота на прилавке. Там что-то было, но что, мы забыли...

Ах нет, как же мы забыли, когда всю жизнь посвятили ее изучению. Мы издали комментированные ПСС, мы были пушкинистами, цветаево- и мандельштамо-ведами, археологами их родословных, социологами их быта, начитанными знатоками интертекстов, математическими филологами. Мы написали библиотеку исследований и диссертаций. Написали портреты, отлили медали, построили храм. Там кто-то жил...

Нет, в этом храме никто никогда не жил. Он построен нами из «звуков сладких», изученных до тла, и «молитв», чтобы умиляться. Словом, — для наших наслаждений. «Наш уголок я убрала цветами...» и энциклопедиями, портретиками, цитатками, тусочками маленького добра, а большое добро и без нас, так как-нибудь само собой победит зло. Сюда можно удалиться от «житейского волнения», закрыть пластиковые окна, чтобы не слышать битв там где-то, и млеть от восторга.

Но... Герои этих исследований в минуты роковые — а в истории все минуты роковые — бессмертие пили не из исследований и юбилейных собраний. Участники пира небожителей ни на теплое место среди них, ни на будущие славу и добро не надеются. Там операционный стол и шестикрылые хирурги-серафимы вершат над ними свою операцию.

«Слово о полку», «Борис Годунов», «Медный всадник», «Возмездие», «12», «Поэма без героя», «Век мой, зверь мой», «Чевенгур», «Доктор Живаго»... — тоже своего рода исследования: «...я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу». Только понять тут плотно сплетено с быть. Это понимание участное, понимание интеллектом как органом, собирающим все существо человека в восприятие происходящего. Восприятие, принятие в себя, чтобы дать взрывам разразиться в себе — в мысли, чувстве, слове... и — собрать, схватить, поймать — в смысл. (Ах, если бы ницшевская музыка не сбила слух Блока в пушкинской речи!) Чтобы роковое историческое событие не только разразилось, но и сказалось, могло осмыслиться, чтобы его откровение не прошло впустую перед нашей слепотой и глухотой, — глаза, уши, сердце, душа, ум и все, чем там только ни снабжен человек к вниманию, — должны быть отверзты: глаза беспощадно раскрыты,

празднословный язык разных «ведений» вырван, и уголь, пылающий огнем, водвинут в понимающее средоточие.

Есть интеллектуалы, чья совесть сегодня взволнована. Они спрашивают ее: «От меня чего ты хочешь?» Мне, слабому и нерешительному очкарику идти на площадь, где тебя через секунду заберут? Писать бесполезные петиции или, наоборот, не подписывать верноподданические письма? Рвать последние волосы в покаянии?

Но почему бы в разговоре с совестью не прислушаться к твоему профессионально развитому органу — интеллекту? Почему бы не призвать к ответу то самое, чем ты искусно владеешь: интеллект? Только использовать его не для инфантильных самооправданий и не для того, чтобы предъявлять свое алиби эстетика-теоретика, наблюдающего со стороны, а по его собственному — интеллекта — делу — понять, воспринять, принять в себя роковую минуту истории во всей ее требовательной вопросительности, принять и попытаться дать ответ. Себе, нам, всем — как и положено ответственному и общезначимому интеллекту.

VI

В предыдущем фрагменте не трудно было распознать тему заметки М. Бахтина «Искусство и ответственность». Красота, в которую ходят, чтобы отдохнуть, эстетически насладиться и отмыться вечностью от грязи времени, оставляет жизнь безобразной и пошлой, да и сама становится пошлой чертой опошленной ею жизни. Не случайно жрец Аполлона меж людей ничтожных мира всех ничтожней. «Искусство и жизнь не одно, — заключает Бахтин свою заметку, — но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности».

Но ведь то же самое можно сказать и о науке. Тем более, что она своими открытиями, изобретениями и всей современной техникой не только прямо вторгается в жизнь, но и занимается ею, организует, направляет. Ответственность за это энергичное и преобразующее вторжение должна быть очевидной. Сегодняшняя «Критика практического разума» должна бы изменить смысл «практического» на «научно-технический» и поставить на место «ноуменальной свободы» могущество знающего и умеющего. Роберт Юнг в «Ярче тысячи солнц» рассказывает, что Энрико Ферми, участвуя в подготовке испытания первого атомного взрыва в Аламогордо 16 июля 1945 г. будто бы говорил коллегам: «Не надоедайте мне со своими угрызениями совести. В конце концов, это — превосходная физика (the thing's superb physics)» (с. 171 рус. изд.). Правда, при виде выращенного с его участием гриба, ужаснулся. Так что научно-техническая практика все же не вытесняет кантовскую практику свободы и самосознания человека: этическую. Кнопки и курки нажимают люди.

Мы вспомнили Канта. А ведь его «критики» могут служить симптомом, может быть, даже диагнозом переживаемого «кризиса». 7 мая 1935 г. Э. Гуссерль прочитал в Вене доклад под названием «Философия и кризис европейского человечества». Речь шла о странном субъекте: «европейское человечество» или «европейская культура». Потом, в книге речь пойдет о «европейской науке», видимо, средоточии кризиса культуры. Ответ философии, то есть воли к интеллектуальной ответственности человека за свое бытие, Гуссерль видел в своей феноменологии. Как бы там ни было, но именно философию

Гуссерль понял (по-платоновски припомнил) как мышление в ответственности, как мысль отвечающую в кризисе, на суде (с которого ведь, как мы знаем, все и начиналось).

У Канта три критики... Философия различает три различных сферы: чистый разум теории, практический разум этики и еще нечто, столь же априорно первоначальное — способность суждения. Эта способность, взятая отдельно, конституирует эстетику как самостоятельную сферу культуры, но также еще и сферу телеологического мышления, мышления в модусе «как если бы».

Я не собираюсь здесь входить в бесконечные подробности и тонкости (хотя там-то вся суть дела). Показательно (как симптом) это разделение в началах, корнях. Есть теоретическая экспериментально-математическая наука со своим априорным схематизмом, обеспечивающим всеобщность и необходимость ее суждений. Есть сфера морального должностования, базирующаяся ровно на том, что логически не может попасть в сферу теоретического разума: автономия свободной причинности и нравственно-правовые законы этой авто-номии. Наконец, способность свободных эстетических суждений, суждений вкуса, — не необходимых, как в науке, не категорических, как в этике. Это тонкие суждения собеседников в салонах, на вернисажах, за столом... Незаинтересованное, необязательное удовольствие от игры изысканных вкусовых рефлексий.

Итак, перед нами наука, озабоченная своими истинами и законами, — но этически безответственная, хотя, возможно, со своей эстетикой (красивая теория, изящный вывод...), затем эстетика, свободная как от истины, так и от морали. Лозунг этой эстетики: «мир может быть оправдан только эстетически», как *Gesamtkunstwerk*. И этика, которая не следует ни из природы с ее законами, ни из красоты, терпящей любое зло, лишь бы вписывалось в картину или гармонию.

Но ведь есть не только те сферы, которые критически различает Кант, а сам Кант, его разум, различающий разные разумы — чистый (теория), практический (этика) и эстетически судящий (искусство)? Как относится критик к неизбежному кризису такого раскола? В пределах какого разума происходит этот раскол на Истину со своей Красотой, но вне Добра, Красоту вне Истины и Добра, Добро — вне Истины и Красоты?

VII

Война-террор. Не для захвата территорий, а против самой независимости, достоинства и человечности человека: если не уничтожить, то сломать, пусть просят пощады. Война против самостийного человека.

Тут два вопроса.

Первый — что же это такое, самостийная человечность человека? Нет, не божественность, а человечность, воплотившаяся для нас сегодня в обитателях укрытий, в беженцах, выброшенных из своих жилищ, искалеченных, убитых. Их уже более трех миллионов. Вспомним также, что вся Европа давно уже наполняется беженцами разного происхождения, так что обитатели благополучных кварталов и коттеджей оказываются скорее уж маргиналами эмигрантских палаточных лагерей. Похоже на новое переселение народов.

Второй — как же это человек допустил, нет, хуже — создал, вырастил в себе ничто, уничтожающее всякое «кто», не только ведь чужое, но и свое собственное, свою человечность? Оставим ангелов и бесов поэтам и спросим: неужто это ничто тоже как-то встроено в «что» человека, в его человечность (справиться в «Лингвистической катастрофе» Михаила Аркадьева). Как же тогда быть? Вот ведь как стоит вопрос, на который требуется ответ. Именно война на покорение, унижающее вплоть до уничтожения, требует ответа: что сопротивляется? Да, жизнь, но не только, что-то еще.

Услышать — среди взрывов и плача — эти вопросы, услышать категорическое требование понять, ответить — вот ведь в чем ответственность интеллекта на этой войне.

Кто же, что же поможет нам ответить? Наука? Искусство? Этика? А что это за образования, занятия, дела? Как это случилось, что заботы человека о себе и, соответственно, работы распались на эти «сферы» (и множество других, производных)? Причем каждый профессионал замкнут в своей сфере-монаде и посмеивается над соседями-недотепами. Наука отвечает научно: бесстрастно изучай объективную машину (космоса, истории, социума), оставив субъективные страсти поэтам и моралистам.

«Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
Я оболую суровым хладом душу,
Но дам душе покой».

(Боратынский)

Искусство отвечает патетическим ораторством или «приди в чертог ко мне золотой». Мораль, понятно, морализирует, но кто ж ее слушает? Ну а религия, будь она в пределах только разума или в церковных приделах тоже зовет к себе, в свои храмы, где все ответы даны раз и навсегда, остается слушаться.

Одна философия не находит себе места, бродит, как бомж или беженец, среди обжитых профессионалами сфер-монад — среди объектов наук, изделий искусств, моральных поучений и церковных стен — и должна держать ответ в одиночестве. Временами она растерянно пытается предлагать свои услуги то религии, то науке, то политике... — будто в них ответ. Временами вспоминает, что она сама не лыком шита, а как-никак всеобщая (*generalis*) мета-что-то-там — онтология, космология, антропология, аксиология, психология... И все же временами находит свое собственное место: положение ее просто и отчаянно: держать ответ на последний и, возможно, изначальный вопрос, под который человека ставит война на уничтожение.

Кто ты, чтобы всеми силами сопротивляться уничтожению? Зачем? Ведь физика останется физикой, прощальные симфонии и реквиемы давно написаны, мы давно выросли из моральных штанишек, а Бог знает, что делает. О чем же битва?

VIII

«О подвигах, о доблести, о славе...»

Понять единство истины, добра и красоты очень просто. Незачем смотреть наверх надеясь в озарении увидеть это сияющее триединство. Может, оно и так, но для нас там слишком ослепительное сияние. Достаточно просто прислушаться к словоупотреблению.

Мы говорим «добро», и думаем о добром поступке доброго человека. А можем сказать и «добрый конь» или даже «добрая табуретка». Стоит только вспомнить «добротность». Добрый конь, всем коням конь, настоящий конь, истый. Вот вам и истинность — истовость, настоящесть — звучащая в добротности. Добротный стол, справжній (укр.), стол, всем складом и видом отвечающий назначению стола, его замыслу, идее. Вот, собственно, видимый облик платоновской идеи. Это не наши идеи, толпящиеся в голове, а мастерские замыслы.

Стол, годный быть столом. Он годится, он пригожий... Ах, девушка пригожая не потому, что хорошенькая, а потому, что годна быть тем, кем быть задумана. Кем задумана? Красота, говорит Платон, не завитушки живописцев, не звуки сладкие, а линейки, треугольники и измерительные инструменты архитекторов. «Красота, — вторит поэт, — не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра».

Тут стоит вспомнить еще один смысл добра: имущество, состояние, хозяйство, то есть все, что нужно мне в моем хозяйстве, чтобы быть. Теперь попробуем представить, что весь мир тоже хозяйство. Кто (или что) хозяин? Все вещи служат чему-то, а мир уже ничему не служит, он просто есть. Вот оно — бытие — во всей своей добротности, истине и красоте. Вот оно — хозяйство бытия. Все там есть по настоящему, истинно есть в своей мере — в своей форме, на своем месте, в свое время. Все тут по-настоящему добротное слажено-прилажено, годится в самоцельном бытии бытия. Все есть, поскольку понятно, и понятно, поскольку есть в этом нарядном порядке (косметика лучше, чем космология, знает, что значит греческое слово «космос»).

Вот он — чистый разум, интеллект не наших домислов, а, кажется, самих вещей. Мы нашли не наш, а сам интеллект.

А где же война? Как же она вообще возможно в таком добротном строении всего? Тем более если это не гераклитовское сражение, которым все схвачено «крепче двух друзей», а вот эта, происходящая сейчас война уничтожающего ничто против простейшего домашнего добра в котомке беженца, а в нем — против микрокосма добра-красоты-истины.

«Что за манихейство?!» — воскликнут знатоки (заглянем в Википедию и узнаем: это дуализм, там некий злой «мрак» активно борется с добрым «светом»). А мы скажем, ах, этот блаженный космос («свет») — всего лишь самодовольный интеллект, интеллект, столь же самодовольный, сколь и безответственный со всеми своими теодицеями (оправданиями «истины-добра-красоты» перед лицом неоправдываемого зла), со своим Спинозистским хладнокровием («не плач, а понимай») Лейбницианским благодушием («все к лучшему»), с Гегельянским шествием одностороннего поначалу разума человека к тому самому тождеству всесторонне знающего себя разума самой действительности...

Нет, скажем мы, интеллект этим безответственным благомыслием не оправдывается, а опровергается. Он не способен ответить на уничтожающий его благомыслие вопрос, который ставит война, не снимаемая иным отрицанием, кроме как вооруженным сопротивлением. Интеллект оправдывается, если возвращается на свое место ответчика, а не оправдателя. Интеллект оправдывает себя, если скажет: нет, задача тут посложнее. XX век своими мировыми войнами, холокостом, массовыми лагерями, геноцидами, голодоморами, угрозой уничтожения вообще всего предприятия под названием «человек», наконец вот этим разверзающимся сейчас событием — ставит вопрос потруднее бывших.

Я, интеллект, должен научиться иметь дело с неоправдываемым, невстраиваемым в интеллектуальный космос, не допускающим понимающего прощения. И однако, разумеемым.

IX

«Страшный суд — величайшая реальность. В минуты — редкие, правда,— прозрения это чувствуют даже наши положительные мыслители. На страшном суде решается, быть или не быть свободе воли, бессмертию души — быть или не быть душе. И даже бытие Бога еще, быть может, не решено. И Бог ждет, как каждая живая человеческая душа, последнего приговора» (Л. Шестов).

Ответственный интеллект должен все понять и оправдать. Он мыслит в горизонте истины (основание доказательств), добра (основание добротности всего в целом) и красоты (образ совершенства, где ни убавить, ни прибавить). Ответственный мыслитель — теоретик — мыслит, вооруженный аппаратом теоретической системы и системой экспериментальных аппаратов; ответственный этик не морализирует, а вдумывается в идею всеобщего блага, эстетик — не делится вкусовыми суждениями, а вдумывается в мир, как если бы он был произведением искусства. Объединяет эти внимания одно: ответственность, то есть интеллект, ум. Ум значит не занимается рациональными выдумками чего-то там идеального, ум это собранность человека в сознании предельной ответственности за свое бытие. Взять на себя бремя предельной — интеллектуальной — ответственности, значит с самого начала претендовать на окончательность. Иначе ведь можно ошибиться, напортить, набезобразничать. Стоит упустить какой-нибудь гвоздик и... «армия разбита, конница бежит, враг заходит в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя». Так на горизонте высшей интеллектуальной ответственности вырисовывается слишком знакомая нам едва ли не со времен Платонова «Государства» идея общества тотальной организации («Тектология» назвал ее революционер, большевик А. Богданов; «Кибернетика» назвал ее американский математик и один из основоположников работ по Искусственному интеллекту Норберт Винер).

И куда ж мы попали с нашим ответственным интеллектом? Куда он завел нас? Не даром, видно, Платон предупреждал, что опасно смотреть на Солнце умного неба — идею блага (добра), идею всех возможных идей и со-ответствующих им вещей. Тотальная монархия (едино-властие или само-державие), где один народ (материя), одна стража (партия), один сверхчеловеческий ум (гегемон) — божественный или искусственный.

Сказать правду, наш разум (то есть — не устану повторять — ответственность), отнюдь не дремлет на троне своих идеальных государств, не пребывает в самодовольстве на Олимпе сверхчеловеческого интеллекта, «мысля самого себя», как говорил Аристотель. Разум это ведь требование обосновать, ответить на вопросы: почему-де, да зачем-де, да как это возможно?

Так вот, там на Олимпе вопросы не только остаются, но встают, может быть, впервые во весь рост. Такие вопросы, что разуму, мыслящему (то есть вроде бы обосновывающему) самого себя, приходится удивиться самому себе, озадачиться самим собой. Честному разуму свои основания тоже ведь приходится обосновывать. Подобно

Эдипу, разум выходит одновременно — следователем, судьей, истцом и ответчиком. В трагическом недоумении он уверяет (себя), что в конце концов основывается не в истине-мысли, а в истине-естине, что его определения соответствуют пределам самих вещей, что порядок и связь его идей соответствуют порядку и связи самих вещей... Но он же судья обоснованно сомневается.

Потому что не брать же основания с потолка, или на веру.

Мыслить (то есть обосновывать, доказывать) самого себя значит ведь как-то быть вне самого себя. И где же конец этого «вне»? Похоже на то, что разуму, чтобы оставаться разумным, нельзя оставаться просто разумом. Вот он и заглядывает за самого себя в поисках надежного основания. Там он думает, надеется найти нечто гораздо более истинное и высокое, чем свои домыслы, что-то сверх-разумное, иррациональное, мистическое, а потому (?) истинное. Об этих прыжках или, говоря внушительнее, трансцендированиях разума, кто только ни рассказывал, мы наслышаны...

А почему, собственно, там, по ту сторону разума что-то более истинное? За пределами разума может оказаться не сверх-разумное, а вовсе неразумное, безумное, сумасшедшее. Не сверх-прекрасное, а безобразное, не сверх-бытие, а как раз ничто, не сверх-благо, а... вот оно — непонимаемое, неоправдываемое, неразумное зло, которым ведь наш благо-намеренный разум нас и запугивал, загоняя в свой воспитательный дом.

С одной стороны монументальная монархия тотальной организации, с другой — анархия сомнений, безумств, войн, безобразий и прочих «естественных состояний». Куда ж бедному разуму податься?

Вот это место, где разум ведет суд с самим собой, кажется, важно. Тут толпятся системы, умы, боги, хаосы, тотальные утверждения и решительные отрицания. Стоит остановиться, осмотреться. Это ведь и есть наше человеческое место.

Х

Я взялся посмотреть на то, чем занимался почти всю жизнь, глазами войны, грохочущей за окнами. Правда, грохочущей еще далеко, можно не бежать. Можно спросить себя. Ты не политик, не социолог, не ученый... и т.д., сидел, читал, писал, занимался сомнительным со всех сторон делом, именуемым философией, любовью к мудрости (?). Казалось, думал. То есть пытался отвечать на вопросы. Какие? Какой профессии, какой конфессии?

Эта война, в которой не видно ничего, кроме ничтожества, мстящего всему, что есть, — эта война ставит под вопрос не только твою жизнь, бог с ней, а все твоё существо, однажды бывшее зачем-то, случаем все еще существующее и вот-вот имеющее исчезнуть. Ну и что, небось, не первый. Так я и не о себе, а обо всем, что так или иначе существует и может исчезнуть. Без следа.

Философия, говорил мыслитель, которого тысячелетие звали просто Философ, — философия думает о том, что такое сущее, поскольку оно сущее. Не то или другое, не такое или этакое, а просто — сущее, все, что есть, а не не есть. И вот, допустим, угрожает ему — всему сущему — не что-то, а само ничто, каким-то чудом тоже существующее, более того могущее уничтожать. Ведь ядерный взрыв, спросите у физиков, это образ

и подобие того события, когда вообще все возникло, а все может возникнуть только из ничто.

Как зрелище нацистских концлагерей, открывшихся европейцам в 1945 году, ранили «совесть человечества», так первые взрывы атомных бомб потрясли «человеческую семью». «Потрясение основ» (The Shaking of Foundation) — так назвал свою книгу 1948 г. известный протестантский теолог и мыслитель Пауль Тиллих. Под вопросом рукотворного апокалипсиса, говорит он, стоит весь проект «человек» в целом вместе со всеми тысячелетиями его истории. В 1957 г. К. Ясперс пишет в книге «Атомная бомба и будущее человечества»: «Вся история это переход. Но сегодня переход, в котором мы стоим, тотален, это переход или к гибели человечества [...] или к процессу, в котором человек сам себя преобразует [...] Мы живем в эпоху перехода между предшествовавшей историей, которая была историей войн, и будущим, которое несет либо тотальное уничтожение, либо всеобщий мир». Тогда, после войны, мыслители ощутили «потрясение основ», потом прошли десятилетия мира (то есть скрытых — локальных, террористических, гибридных войн) и, несмотря на тревогу экзистенциалистов, к колебаниям фундамента привыкли, да и сама забота о проекте «человек» вызывала только «философский смех» (М. Фуко).

Итак, чей же, какой профессии это вопрос — вопрос о проекте «человек» в целом? Заметим также, что речь идет о переходе от эпохи войн к эпохе единственной войны не на жизнь, а на смерть человека как такового. Этого «мыслящего тростника», в сознании которого все, что есть, приобретает смысл, а без него какие бы там галактики ни крутились, все — бессмысленно, могло бы и не быть.

«Когда пробьет последний час природы,

Состав частей разрушится земных:

Всё зримое опять покроют воды,

И божий лик изобразится в них!»

(Тютчев)

Вот как стоит вопрос.

Мое утверждение таково: нынешняя война — это прелюдия к той, последней и решительной. Она, говорю я, уже мировая, если смотреть, что поставлено под уничтожающий вопрос. Даже больше — она всемирно-историческая: все культуры и эпохи ожидают решения: быть им или не быть, как бы и не были?

Но как же такое возможно?

Какие профессионалы ответят? Что ответят конфессии? Ведь Бог-творец и отец не может так вот просто отразиться в первобытных водах, словно признав неудачу своего замысла.

Ну, вот я и тшусь что-то найти, пробираясь по знакомым закоулкам философии.

XI

Назначение интеллекта, говорю я, держать ответ. Он судья, истец и ответчик. Истинность, обоснованность, ясность и отчетливость, доказательства и опровержение, свидетельства — все это требования не только логические, но и юридические, и этические (Спиноза писал свою математическую метафизику как «Этику»). (И давайте договоримся:

понимание сердцем, чувствами, нутром, которое «знаю, но сказать не умею», пусть вступит в противоречие с самим собой и расскажет нам ясно и отчетливо, как оно возможно, о чем вообще речь. А нет — так нет, пусть себе глубокомысленно молчит.)

Должен уточнить. Говоря: понять зло — значит оправдать, я имею в виду «оправдать» не в юридическом смысле — снять вину, а в смысле отыскания места в понимаемом мире. Вот тут трудность чуть ли не метафизического значения.

В замысле понимания есть странная тавтология: понимание понимает понятное, а непонятное оно не понимает. Смешно? Но сам Философ говорит «о случайном науки не бывает». Потому что наука — о необходимом. Что же тогда? Понять, положим, преступление — значит показать его необходимость (мы знаем: семья, травмы, среда заела... ради блага, ради будущего...)? А иначе что же, оставить как непонятный случай? А как же суд, правопорядок?

Конвенциональный закон, что в мафии, что в государствах с грехом пополам решает свои внутренние проблемы. А как же быть, например, с военными преступлениями, отвергающими международные конвенции? Тут ведь судьей будет просто победитель, пусть хоть «семья народов». Но вот преступления, которые, как в 1948 году выяснилось, затрагивают «совесть человечества». Что это значит? Где скривали этой совести? Международный суд, остается призраком, ни прогрессивное, ни так себе человечество почему-то не спешит всерьез учреждать это Учреждение. «Семья народов», чья совесть была серьезно обеспокоена, почему-то не желает брать на себя юридическую ответственность за поведение людей или государств в мире, который, говорят, на деле становится глобальным. Интеллект же не может мириться с этой безответственностью. Более того, для него именно глобальность — всеобщность, универсальность (*metaphysica generalis*) — отродясь была и темой, и ремой, и проблемой. Теперь эта проблема стала событием, реальной некуда. Суд-кризис уже идет, хотя нет ни кодексов, ни судий, ни... — процесса, а есть война, возмущающая совесть человечества. И снова, где оно «человечество», где уголовный кодекс этой совести?

ХII

Некогда Ф. Шиллер сказал: *Die Weltgeschichte ist das Weltgericht* («Всемирная история — это всемирный суд»), как бы судебный процесс, который мир ведет с самим собой). Это значит, вопрос вины, ответственности, этического самосознания — вот центральный вопрос тех, кто протоколирует, исследует улики, изучает свидетельские показания и — выносит суд, то есть историков. Теперь вот, почитал ответы историков на предельно ясный вопрос: не кажется ли вам, что переживаемое сейчас событие российской истории — одно из позорнейших? Ну то есть, «Бывали хуже времена, но не было подлей». И понял, что Шиллер ошибался: *die Weltgeschichte ist die Weltrechtfertigung*. История это надежнейший способ оправдать все что угодно: все всегда так было, было еще хуже, будет еще хуже (!), и другие так же, а другие еще хуже, и вообще все не так просто и однозначно, есть разные аспекты (а кто учил диамат, добавит: истина конкретна). Сталинизм, Иван IV, орда, советский византизм... И все, о каком позоре речь. История на все уже ответила и за все еще ответит. А мы сошлемся на нее, как заправские адвокаты ссылались на тяжелое детство преступника и среду.

Впрочем, далеко не только историк перед этим неудобным вопросом — каково тебе на позоре? — стремится занять удобное место эпической или теоретической объективности.

«Он (Зевс) одинокий сидел в отдалении, радостно гордый,
Град созерцаая троян, корабли чернооких данаев,
Меди сияние, брань, и губящих мужей и губимых».

Декарт в печи

(послесловие составителя)

Н.Н. Мурзин

То, что вы прочли, написано по горячим, очень горячим следам (и слезам). Это заметки Анатолия Валерьяновича Ахутина... хотел сказать, «набросанные» им в самые первые дни Катастрофы — но на самом деле, ничего набросанного/бросового в них нет, это туго протянутая нить последовательных, неотступных размышлений. Философ *par excellence*, человек, гражданин, все ипостаси которого равноценно бытийствуют — задается мучительными вопросами и оставляет бесценное свидетельство ответственного/отвечающего на вызовы мира ума, ума, который поставлен под жестокий вопрос миром и самим собой. Это скрепляющая наш договор с бытием печать — взятие-на-себя, принятие мира и разделение его судьбы, и судьбы других, всех, кто осознает, что каждый момент времени ставит перед нами выбор размером в целое всей его сущности, и не уклоняется от него.

Есть такая история — что Рене Декарт якобы пришел к идее несомненности *Ego Cogito* в одной из военных кампаний, в которых ему по молодости довелось участвовать. Как-то раз он, будучи на марше, оказался застигнут холодной зимней ночью, вдали от обитаемых мест. Тогда, чтобы не замерзнуть, он забрался внутрь печи, которая одна осталась стоять на месте чьего-то разоренного и сгоревшего дома. И там, в предельной темноте и тесноте, когда весь мир пропал, был отчужден во мраке, Декарт особенно остро ощутил все, что составляло его собственное существование — свои мысли, ощущения, телесность — но в первую очередь, тот непостижимый свет сознания, который мы воспринимаем как данность и в луче которого можем мыслить одинаково и нечто иное, и самих себя — что значит, что луч этот есть нечто свыше даже субъективности, хотя к стихии субъективного, к мыслительной субстанции, он по сути своей ближе, чем к внешней реальности. Все вокруг может быть или не быть, быть тем или иным. Но этот луч, этот свет — это что-то единое, неизменное, простое, и будто бы вне зависимости находящееся от того, на что падает. Хотя, если приглядеться, если сосредоточиться на нем/в нем, то станет понятно, что именно он и позволяет нам отделять реальное — от нереального, истинное — от ложного, доброе — от дурного, нас самих — от чего-то/кого-то еще.

Я не знаю, правдива эта история или нет, и, что намного важнее, о чем именно она говорит. Какой луч, какого света можно было бы на нее направить, чтобы выяснить это?

Даже будь она стопроцентно золотая, неподдельная, свидетельствуй хоть сам Декарт в ее пользу — что бы это доказывало? История не столп и утверждение истины, она источник страшной растерянности, сплошной возможности. Какова заслуга войны и печи в озарении Декарта, если все так, как гласит это предание, если оно и впрямь намекает на то, на что, как нам мерещится, оно намекает? Есть ли здесь НЕОБХОДИМАЯ связь? На той войне ведь было много людей (как и во все времена), многие ютились на постое тут и там, многие из них были образованные французы. Cogito постиг один Декарт. И мы не знаем — самое честное будет это признать, — была та война и та печь необходимы для того, чтобы все повернулось должным образом в его голове в направлении cogito. Судя по тому, что мы о нем *знаем*, Декарт мог обойтись без войны. Да и война — само собой — без Декарта. Но она случилась, и вот Декарт, скитаясь по бесприютным пустошам, действительно набредает на те руины, забирается в ту печь, и в ней, доверимся легенде, испытывает свое озарение. Тогда печь, возможно, его ньютоново яблоко? В отличие от Ньютона, великана-Гулливера, стукнутого миром, спрессовавшимся до яблока, по темечку, Декарт оказался в ином положении — он, маленький, пробрался в нечто большее, дал ему поглотить себя. В ту холодную зимнюю ночь он стал братом Ионе, проглоченному китом, или Тору, укрывшемуся от бури в великаньей рукавице. Мифология всегда к нашим услугам, из какого бы угла вселенной мы ни закидывали в небо наши сети. Бочка Диогена, темница Сократа и Боэция, печь Декарта, окоп Витгенштейна, складка Делеза — все они такие разные, и все, тем не менее, об одном. А еще ветхозаветная печь, в которую вошли отроки, печка Ильи Муромца и котел с кипящим молоком из русских сказок, страшные концлагерные печи...

История смыкает одно с другим в совершенно необязательную, но странно нерасторжимую цепь. Мы в состоянии обойтись без этого внешнего ее звена — но вот открепить его от внутреннего мы уже *не* в состоянии. «Мир есть то, что выпало», — сказал Витгенштейн, какую чудную науку на этом построишь? Домострой. Семейное сходство. Теперь у нас есть жизнь, и она нам как жена — не бросишь. В какой-то точке череда случайностей переворачивается вдруг обратной стороной, как лента Мебиуса, переходит гладко и незаметно в железную смычку, в держание всего библихинской мощной софийной хваткой. Подтверждением и залогом этого становятся дети, рождающиеся у нас с нашей женой-жизнью — и Платоновы умные, духовные дети тут не исключение. Таково загадочное «становление», «переход количества в качество», «вдруг-новое», «событие» — слова, призванные передать непередаваемое, очертить не страну на карте, и даже не саму карту, и даже не связь между ними — а радужный мост, по которому ходит оттуда сюда и отсюда туда «бытие», то самое, что одно с «мыслью».

Декартова печь, гостеприимная, спасительная — пример того, как работает, осуществляется в неуловимом пространстве между историей и мифом, в какой-то молчаливой *хоре* застывшего времени и оледенелого пространства пресловутое «отрицание отрицания». Она антитезис печи войны, в которую людей регулярно швыряет история, она зримая, подлинная, слепленная руками человека вещь, в которой он обретает покой и ответ, спасается, хотя бы на время, от вселенной смерти, полной губительных вызовов. Точнее, она вещь, оставшаяся собой — и потерявшая себя (пострадавшая) — и ставшая чем-то иным. Она все это сразу, как, впрочем, и все философские понятия, изначально взятые из быта или откуда еще, приспособленные под новую задачу —

укрыть, приютить в себе от ужаса и хаоса бодрствующий разум — в чем, как кажется, единственный смысл и оправдание жизни.

Наше философствование — всегда голос не из хора, но из хоры, голос домового из печи, только вот дома больше нет. Мир — это горящий дом, говорят буддисты. Мир — это сгоревший дом, говорит с нами голос вне религии, без подписи. Внемля ему и отдавая ему свое горло (еще одна темная, теплая, тесная глубина для чего-то еще, чтобы пришло и вышло), мы становимся *философами*. Некоторым образом, философия — всегда — пост-апокалиптика, она веет из отмененного будущего и разрушенного мира. Просто кто-то даже не знает, что в хлебе, который он каждодневно ест, спрятана эта гранула горечи, подкинута рукой случая или судьбы, залетевшая через форточку далеких, до поры отсроченных событий, вмешавшаяся в тесто наших регулярных мирских причастий, превращая их в предчувствия, в мировую тревогу. Сладкоголосые сирены покоя и комфорта оказываются внезапно перебиты своими хрипыми, грубо звучащими, железногорлыми сестрами — вестницами несчастий и катастроф. И вот тогда — однажды — но нельзя просить об этом — мы, отравленные этой нежданно проскользнувшей в нас горечью, разматывая умом клубок Ариадны, доходим-таки до пустоши, откуда принес ее нам смертельный ветер, и тогда он дует нам уже прямо в лицо, и обмануться невозможно. Наша задача — выжить там и вернуться назад, чтобы свидетельствовать. Похожую задачу ставил перед мудрецом Платон: вернуться в пещеру с солнечного света истины. Только теперь солнечный свет может заменить атомная вспышка; наука ведь давно объяснила нам, что они одноприродны. И тогда пещера-печь понадобится нам прямо там, в мире нестерпимого света или ледяного ночного холода. Но как, и куда мы будем возвращаться от тех пределов?

Сегодня все мы брошены в печь. Кто-то ближе от огня, кто-то дальше. Кто-то уже ощутил его на коже и на душе, кого-то это ждет позже. Время ключ к нашему бытию. Но мы всматриваемся в его подвижное, переменчивое лицо, вопреки всему, с надеждой. Таков естественный эгоизм ума, благородная эго-эксцентрика разумности. Если уж рацию находит опору в себе (с подмогой клюки-печи) и говорит, надменно и надрывно, обращаясь со своего сожженного погоста к городам и мирам: все, что происходит, способно дать мне что-то. А значит, возможно, все, что происходит, и происходит ЗАТЕМ, чтобы дать мне что-то. Я — конечный адресат (если откликнусь, если наберусь мужества ответить на грохочущий, громовой голос посланного бороться нас ангела: НУ, КТО ТУТ НА МЕНЯ? — Я. Я здесь). А значит, возможно, я также есть и самый первый адресат, тот, кого сразу держали в уме (в другом уме, в другом начале), о ком думали еще в преддверии бытия, запечатывая письмо сургучной кляксой всей будущей пролитой крови. Протягивая руку за этой пылающей посылкой, раскрывая в самом адовом разгаре книгу огненных страниц, разум выставляет себя не воином и не жертвой — а тем, чем он и был создан (призван быть), что потворствует самой глубокой и неодолимой его интенции. Он ответчик — не только потому, что откликается на то, что происходит; скорее, это то, что происходит — отвечает, соответствует ему, выставлено по мерке его ответственности. И вот, он садится напротив чудовища, потрясающего вселенные, и говорит: хорошо, я слушаю. Об этом очень легко подумать и сказать глупость. Но есть лишь одна сцена, на которой все произнесенные философией слова обращаются

правдой — последней, исконной, вечной; лишь один уровень силы — наивысочайший — чтобы выйдя на нее, выслушать их — и постигнув, сказать в ответ свое слово.